

Алексей Азаров

Где ты был, Одиссей?



*Часть сборника
Авария Джорджа Гарриса
(сборник)*



Алексей Азаров
Где ты был, Одиссей?

«ВЕЧЕ»

1973

Азаров А. С.

Где ты был, Одиссей? / А. С. Азаров — «ВЕЧЕ», 1973

«...Когда я прикуривал, пальцы у меня дрожали. Сейчас я слежу за собой и радуюсь: кофе в чашке недвижим. Черный кружок и замершая в центре соринка – микроокеан и тонущий кораблик Одиссея. Одиссей – это я. Все есть на моем пути: и бури, и плач сирен, и жуткий бег между Сциляой и Харибдой, и хозяин пещеры Циклоп. Где ж ты был, Одиссей, куда тебя носило? Циклоп с непроницаемым лицом смотрит на часы. Белый манжет, перехваченный жемчужной запонкой, свободно свисает с узкой руки. Она так женственна и артистична, что кажется, еще миг – и ей дано будет вспорхнуть над возникающими из складок скатерти клавишами, и Бетховен встретит Кло, входящую в кафе, гимном, достойным ее красоты. – Полчаса прошли, – говорит Циклоп деловито и поправляет выскочивший манжет. – Пора домой. Там мы побеседуем о наших делах в спокойной обстановке. Согласны? Заодно я буду рад услышать от вас, как и когда вы придумали сказку о Клодине Бриссак. И зачем вам она понадобилась – это я тоже не прочь узнать...»

© Азаров А. С., 1973

© ВЕЧЕ, 1973

Содержание

1. В гостях у Циклопа – июль, 1944	5
2. Кое-что о странствиях – июль, 1944	9
3. Циклоп, Гаук и сукин сын фогель – июль, 1944	15
4. Почти тот свет – июль, 1944	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Алексей Азаров

Где ты был, Одиссей?

1. В гостях у Циклопа – июль, 1944

Одноглазый Циклоп – лучший мой друг. Мы это с ним установили вчера. Он так красочно и горячо расписывал перспективы, открывающиеся передо мной, если я всегда и во всем буду держать его руку, что я едва не бросился ему в объятия. Только врожденная сдержанность помешала мне сделать это. Мы скрепили договор о дружбе кружкой-другой светлого пива и решили, что на свидание с Кло явемся вдвоем.

Впрочем, лукавый Циклоп нарушил слово и прихватил в кафе приятелей. Сейчас они сидят за угловым столиком и со скучающими физиономиями потягивают аперитивы. С нами они не разговаривают и даже не смотрят на дверь, откуда должна появиться Кло Бриссак, двадцати двух лет прелестная и таинственная.

Если Циклоп мой друг, то Клодина – моя гордость, рост сто пятьдесят семь, талия пятьдесят пять, размер обуви – тридцать третий. Согласитесь, такое встречается не каждый день. Если же к перечисленным достоинствам добавить родинку на левой щеке, голубые глаза и длиннющие волосы, волшебством парикмахера превращенные в старое золото, то, право, легко понять Циклопа, загоревшегося желанием познакомиться с Кло, и чем скорее, тем лучше. Ради такого случая он даже переделался в новенький костюм, узковатый в плечах, и заколол свой бордовый, очень корректный галстук жемчужной булавкой.

Утром, готовясь к свиданию, Циклоп так волновался, что выкурил лишнюю сигарету. Десять штук в день, – вот та норма, которую он себе определил во имя долголетия, и ровно десять слабеньких «Реемтсма» уместается у него в портсигаре. Об этом я узнал вчера во время задушевной беседы, равно как и то, что дома у него невеста – премилое существо, с коим он обручился еще в сороковом.

– А как же свидание с Кло? – спросил я. – Господь, освящающий браки, не прощает измены избранницам, даже, если они совершены в помыслах, а не действии.

– Бриссак – особый случай. И потом, кто она – женщина или призрак? Или, быть может, плод вашей фантазии?

– Я реалист.

– Вы? – Очки Циклопа нацелились в мою переносицу. – Милый мой, да вы или сущее дитя, или фантаст почище Гофмана. Три месяца знакомы с вашей Кло, а не знаете адреса и, бьюсь об заклад, ни разу не слазили ей под лифчик.

– Так оно и есть.

– Так или не так, я это выясню. Если, конечно, Клодина Бриссак не призрак. В последнее время, знаете ли, я столь часто имею дело с призраками, что считаюсь в наших кругах доктором оккультных наук. Вы меня поняли?

– Еще бы! – сказал я и пожал плечами.

При желании мне ничего не стоило поразить Циклопа деталями, которые на известный срок развеяли бы его сомнения, но я предпочитаю приберечь их напоследок, на тот стопроцентный возможный случай, если Кло не явится в кафе. Ночью я так долго думал о ней, что вся жизнь Клодины, просмотренная, как лента фильма, запечатлелась в моей памяти: знаю я и склонности Кло, и ее сокровенные привычки, и особенности, вроде манеры растягивать гласные в слове «милый».

– Так где же ваша крошка? – спрашивает Циклоп и постукивает ногтем по стеклу часов.

Ноготь хорошо отполирован и вычищен. Кожица у основания подрезана. Я слежу за рукой Циклопа и думаю о том, что у него удивительно красивые пальцы: длинные, тонкие пальцы пианиста или аристократа.

– Еще не вечер, – отшучиваюсь я. – Да и где гарантия, что Фогель не напутал? Говорил же я вам, что на могиле несколько кашпо, и было бы лучше, если б я сам поставил гвоздики куда надо. А ваш Фогель...

– Ни слова о нем!..

Правый, живой глаз Циклопа, увеличенный стеклом очков, с пугающей быстротой приобретает мертвенную холодность левого, фарфорового. В голосе проскальзывает резкая нота. Уловив ее, двое за столиком в углу угрюмо настораживаются и смотрят в нашу сторону.

– Успокойтесь, Шарль, – говорю я и медленно, не расплескав ни капли, подношу ко рту чашку с остывшим кофе. – Согласитесь, что я прав: Фогель не производит впечатления первого ученика.

– Скажите-ка это ему.

– Ну нет! Хирурги дерут втридорога, особенно когда имеют дело со сложными переломами... Но я не об этом, Шарль! Просто мне кажется, что на кладбище нужно было ехать нам с вами. Второе кашпо слева в нижнем ряду и три крапчатых гвоздики, и Кло прочла бы мой призыв: «Приходи завтра!»

Живой глаз Циклопа тихо оттаивает.

– Или наоборот, говорит он с полуулыбкой. – «Не приходи никогда». Три махровые гвоздики и еще какой-нибудь пустячок, о котором вы мне позабыли сказать. Так может быть?

Беседовать с Циклопом одно наслаждение. Он строит фразы легко и изящно, и где-нибудь в светском салоне я бы мог ошибиться и принять его за маменькиного сынка с приличным состоянием. В своем кабинете он явно не на месте. Письменный стол слишком огромен для него, а пуританские формы полевых телефонных аппаратов диссонируют с его белоснежными рубашками из батиста и очками в тонкой золотой оправе. Когда я впервые увидел его за столом, то с грустью понял, что судьба подкинула мне чистое «зеро».

Очевидно, флюиды и прочие импульсы, рождающиеся при работе мозга, все-таки существуют, ибо Циклоп вдруг накрывает мою руку своей почти бесплотной и мягко говорит:

– Не надо волноваться, мой друг.

– С чего вы взяли?..

– Ну, ну, только не лгите. Я же вижу: вам не по себе. Сознайтесь, что Кло – мираж в пустыне, и мы сейчас же поедем домой. Ну как?

– Подождем.

– А не зря?

– Чего вы хотите? – говорю я серьезно. – Чтобы я взял и вынул вам ее из кармана? ... Черт возьми, я больше вас заинтересован в свидании. Если мы уедем, а она придет, кто проиграет? Не вы же?

– Будь по-вашему, Мюнхгаузен! Гарсон, еще два кофе. Не очень крепких.

После полудня в кафе пусто. Девушки, забегающие сюда, чтобы за бокалом оранжада посплетничать о любовниках и купить у буфетчика из-под полы пару чулок «паутинка», – все эти Мари, Розы и Люлю с кожей той нежной голубизны, что свидетельствует о постоянном недоедании, давно уже разошлись по своим конторам, шляпным мастерским и салонам мод. Кафе, как и весь Париж, в промежутке с часу до четырех – зона пустыни, и только мы застряли в нем, как бедуины на привале.

– Пейте, – говорит мне Циклоп и отставляет свою чашку. – Договорились – еще полчаса? И баста!

– Кло придет. Вы получите ее, Шарль, а я получу...

– Ну и характер! Вы и в аду открыли бы мелочную лавку! Признайтесь, мой друг, у вас в роду не было торговцев?

– Только чиновники.

– Ах да, колониальная администрация в Марокко. Странно, почему у вас такая кожа серая, ни мазка загара? Законы наследственности на вас не распространяются?

Все та же игра! Третьи сутки подряд. Я изрядно устал от нее и к тому же хочу спать. Сейчас Циклоп начнет вытягивать из меня подробности относительно моего детства или расположения улиц в Марракеше или спросит, сколько франков стоил до войны на базаре праздничный наряд туарега. Мелочи, сотни мелочей, которые он ухитряется проверять с феноменальной быстротой. Вчера к концу разговора, когда Фогель, раза три встававший и уходивший куда-то, вернулся в последний раз и положил на стол какую-то бумажку, Циклоп, бледно улыбаясь, уличил меня во лжи относительно расположения бара в мадридском отеле «Бельведер». Я пытался спорить, но Фогель быстренько вычертил план, и мне ничего другого не осталось, как сослаться на плохую память.

– К тому же я жил там сутки, – добавил я как можно небрежнее.

– Но названия коктейлей помните?

– Все просто: за каждый из них я платил... Я всегда помню, что именно приобретаю на свои денежки... А бар – справа он или слева, какая разница?

– Очень любопытно, – сказал Циклоп. – Очень, очень любопытно, как расходятся взгляды у разных людей на один и тот же предмет. Фогель оплатил ваши счета в пансионе и утверждает, что вы настоящий мот. Сами вы признаетесь, что скупы, как Гарпагон, и знаете цену каждому сантиметру. Мне вы не представляетесь ни тем, ни другим – здравомыслящий реалист, и только. А вот доктор – помните его? – убежден, что вы сумасшедший и тот припадок, который сразил вас вечером, есть следствие органических изменений центральной нервной системы.

– У меня был припадок?

– А разве... Не помните?

– Смутно. Что-то белое и синяк на левой руке.

– Халат врача и гематома – вы так рвались, что доктор пропорол вам вену иглой. Давно это с вами?

– Было в детстве, потом прошло. Нет, я не сумасшедший!

– Я тоже так думаю, – кивнул Циклоп. – Для шизофреника вы слишком логичны. Даже то, как вы через Испанию попали в Париж, убийственно логично. Кстати, где у нее родинка, у вашей Кло?

– На левой щеке, – сказал я и попросил сигарету.

Когда я прикуривал, пальцы у меня дрожали.

Сейчас я слежу за собой и радуюсь: кофе в чашке недвижим. Черный кружок и замершая в центре соринка – микроокеан и тонущий кораблик Одиссея. Одиссей – это я. Все есть на моем пути: и бури, и плач сирен, и жуткий бег между Сциляой и Харибдой, и хозяин пещеры Циклоп. Где ж ты был, Одиссей, куда тебя носило?

Циклоп с непроницаемым лицом смотрит на часы. Белый манжет, перехваченный жемчужной запонкой, свободно свисает с узкой руки. Она так женственна и артистична, что кажется, еще миг – и ей дано будет вспорхнуть над возникающими из складок скатерти клавишами, и Бетховен встретит Кло, входящую в кафе, гимном, достойным ее красоты.

– Полчаса прошли, – говорит Циклоп деловито и поправляет выскочивший манжет. – Пора домой. Там мы побеседуем о наших делах в спокойной обстановке. Согласны? Заодно я буду рад услышать от вас, как и когда вы придумали сказку о Клодине Бриссак. И зачем вам она понадобилась – это я тоже не прочь узнать.

– Фогель перепутал кашпо...

– Фогель ли перепутал кашпо, вам ли потребовалось показаться кому-то в моем обществе – все это вещи, достойные размышлений. У нас с вами впереди бездна времени для бесед по душам, и чутье говорит мне, что беседы эти будут очень, очень откровенными... Допивайте свой кофе.

Двое встают из-за столика и, не дожидаясь, пока Циклоп отсчитывает деньги, выходят из кафе. У них прямые спины, обтянутые стандартными пиджаками, и грубая обувь военного образца. Такую солдаты вермахта сбывают на «черном рынке» около Триумфальной арки. Там же, у арки, кулисье торгуют валютой всех стран мира. Один из них и продал мне ту самую двухфунтовую бумажку с радужными разводами и тонкими штрихами защитной банковской сетки.

Гарсон отсчитывает сдачу, а я пью свой кофе. Мне-то совсем не хочется спешить...

Мы выходим на улицу, на самое пекло, и горячий тротуар Елисейских Полей мягко приминается под моими каблуками. Небо – синее с белым, ни дать ни взять океан, по которому Одиссею уже, пожалуй, не плыть никогда. Разве что мысленно... Я невесело усмехаюсь про себя банальности сравнения и иду вместе с Циклопом к машине. Двое в военных башмаках шествуют сзади и подпирают меня взглядами.

«Мерседес» стоит за углом, охраняемый шуплым субъектом в шляпе с перышком. Когда мы приехали, он уже ошивался тут, возле афишной тумбы. Усики и цепкий взгляд странно не вяжутся с отлично сшитым дорогим костюмом; из бокового кармана торчат тонкие перчатки. Субъект открывает дверцу, пропускает Циклопа и сильным движением толкает меня в задний отсек машины, куда уже успели забраться парни в стандартных пиджаках.

– Садитесь и вы, Фогель, – говорит Циклоп. – Мы потеряли два часа.

Фогель с треском захлопывает дверцу и, раньше чем машина берет с места, защелкивает наручники на моих запястьях. Шляпа с перышками царапает мою щеку.

– Осторожнее, – говорю я. – Он выбьет мне глаз, Шарль.

– Ну, ну, Фогель...

– Все в порядке, штурмбаннфюрер. Я только надел браслеты... Я его и пальцем не коснулся...

– Еще успеешь, – негромко говорит Шарль, он же Циклоп, он же СД-штурмбаннфюрер Карл Эрлих.

И «мерседес» устремляется по улицам Парижа от центра к периферии. Именно там, подальше от деловых кварталов, в Булонском лесу, расположилась пещера моего Циклопа. Называется она просто и со вкусом – гестапо.

Я закрываю глаза и думаю об Одиссее, кораблик которого занесло чертовски далеко от родных вод... Впрочем, какой я Одиссей? Меня зовут Огюст Птижан. Сын отставного чиновника из Марракеша Луи-Жюстена Птижана и Флоры, урожденной Лебрие. Мне тридцать семь лет; у меня слабое сердце, одышка и плоскостопие, сделавшее меня негодным к призыву в тридцать девятом; и главное – мне очень надо жить...

2. Кое-что о странствиях – июль, 1944

Главное – мне очень надо жить. И Эрлих это превосходнейшим образом понимает. Понимает он и то, что ни один человек на свете, оказавшись в моей шкуре, не станет исповедоваться с детским простосердечием. Посему он в третий раз на протяжении утра выслушивает рассказ Огюста Птижана о том, зачем и почему Птижан перебрался весной из Марракеша в Париж. Надо отдать ему должное: слушать он умеет.

– Ну вот, – говорю я, добравшись наконец в своем повествовании до злополучного отеля «Бельведер». – Там-то я и решил, а не попробовать ли счастья в Барселоне? Мне сказали, что суда в Марсель ходят довольно часто и что с испанским паспортом у меня не будет затруднений... Продолжать?

– Да, да, конечно, – вежливо говорит Эрлих и склоняется над стопкой бумаги. Стопка лежит идеально прямо, но штурмбаннфюреру что-то не нравится, и он подравнивает ее металлической линейкой, сдвигает на пару миллиметров вправо. – Не забудьте, пожалуйста, подробности поездки... Любые мелочи важны... Хотя что я – у вас, мой друг, такая память, что мы с Фогелем не устаем поражаться. Вы не увлекались мнемотехникой?

– Нет... Но вы правы: память у меня хоть куда!

Слова, слова! Я изливаю их таким могучим потоком, что Рона в сравнении с ним показалась бы жалким ручьем. Однако Эрлих готов тратить и время, и терпение, выслушивая импровизации Огюста Птижана, а Фогель, человек в общем-то, как мне кажется, желчный и экспансивный, ни звуком, ни жестом не выражает протеста и, согнувшись в три погибели над громоздким «рейнеметаллом», знай выстукивает себе которую по счету страницу протокола. Печатает он одним пальцем, но быстро и записывает все дословно. Машинка сухо потрескивает, и я, описывая маршрут Мадрид – Сарагосса – Барселона, чувствую себя знаменитостью, дающей интервью...

Я думаю о Фогеле, и возникает пауза, разрушаемая Эрлихом. Он не любит, когда я останавливаюсь.

– Вы что-нибудь забыли?

– Я устал.

– Скоро отдохнете, – говорит Эрлих с намеком. – На чем он запнулся, Фогель?

– На Сан-Висенте-де-Кальдерс. Перечитать?

– Не стоит, – говорю я. – В Сан-Висенте я сошел с поезда и пересел в автобус. Большой автобус марки «бенц», с багажным отделением наверху.

– Почему перешли?

– Какая-то авария на станции. Говорили, будто вагон сошел с рельсов или выворотило шпалы... Не помню... Это было шестнадцатого апреля, можете проверить.

Эрлих кивает и принимается выравнивать стопку бумаги на столе. Вид у него скучающий. Чтобы немного взбодрить штурмбаннфюрера и подогреть его интерес, я, описывая поездку, вспоминаю несколько деталей, таких, как синий берет на водителе и перебранку между ним и огромной, неправдоподобных форм валенсийкой, севшей в Виллафе. Сбиться я не боюсь, ибо все так и было – автобус, синий берет и валенсийка, оравшая на весь салон, что она, хотя и заняла два места, заплатит за одно, поскольку в правилах не оговорено, что плата удваивается, если щедрый Господь награждает женщину добротной задницей...

В этом месте рассказа вновь возникает пауза, но уже не по моей вине. Микки, в плиссированной юбочке и приталенном мундире шарфюрера СС, аккуратно постукивая сапожками, входит в кабинет и, выдохнув: «Хайль Гитлер!», сменяет Фогеля за машинкой. «Наконец-то!» – облегченно роняет Фогель и пересаживается на подоконник, чтобы немедленно приступить к своему излюбленному занятию – подпиливанню ногтей.

– Добрый день, мадемуазель, – говорю я Микки. – Прелестная сегодня погодка, не так ли? У СС-шарфюрера точеные ножки и невыразительное личико, украшенное прической в стиле Марики Рокк. Насколько я знаю, немки в Париже, досыта объевшись «Девушкой моей мечты», все, как одна, украсили себя валиками надо лбом и подвитыми локонами сзади и за ушами. Некоторым это идет, но помощницу Эрлиха постигла неудача. Марикой Рокк она не стала, зато приобрела удивительное сходство с диснеевским Микки Маусом – очень противным, на мой вкус, мышонком. Микки не долго размышляет над ответом.

– Скажите ему, чтобы он заткнулся, штурмбаннфюрер! – изрекает она и ловко перебрасывает влево каретку. – Или он заткнется, или я ему врежу в пах. Еврейская свинья!

Эрлих долго и с интересом разглядывает нас обоих.

– Он не иудей, шарфюрер.

– Все равно пусть заткнется!

– Уже заткнулся, – говорю я кротко, чтобы доставить Микки удовольствие. – Однако как же с Барселоной, штурмбаннфюрер? Рассказывать или не надо? Госпожа шарфюрер против того, чтобы я здесь трепался...

Я все жду, что Эрлих однажды сорвется, и тогда будет то, что рано или поздно должно быть: крик, удары, сломанные кости и вывернутые суставы. Не понимаю, почему он церемонится с Огюстом Птижаном? Четверо суток я заговариваю зубы, потащил гестаповцев в кафе, куда якобы должна была явиться Кло, отпускаю шуточки – и все безнаказанно. Будь на месте Эрлиха статуя Бисмарка и у той лопнуло бы терпение.

Все же последняя моя реплика заставляет штурмбаннфюрера побледнеть. Бледнеет он своеобразно – сначала кровь отливает от лба и подбородка, подчеркивая розоватую сетку на скулах, потом сереют сами скулы, и наконец белеет нос, весь за исключением кончика, который светится, словно тлеющая сигарета.

– Не зарывайтесь, Птижан, – тихо говорит Эрлих. – Сумасшедший вы или просто лжец – дело третье. Но что вы шпион, у меня сомнений нет. Надеюсь, нет их и у вас?

– Как раз наоборот...

– Хватит! Давайте о Барселоне. Где вы останавливались там?

– В «Континентале».

– Где питались? В ресторане? На каком этаже?

– На втором.

– Чушь. В Европе все рестораны без исключения расположены на первом.

– А в «Континентале» на втором. Боже мой, сколько можно твердить об этом? ... «Континенталь» стоит на Рамбла-де-Каталуна, в пятидесяти шагах от площади Де-Каталуна и в ста от улицы Пассо-де-Грасиа... Нетрудно проверить.

– Когда открывается ресторан? Утром, в полдень?

– Утром он работает недолго, а по-настоящему открыт вечером, с восьми.

– Опять лжете?

– Да нет же, – говорю я и пожимаю плечами. – Чистейшая правда, хотите присягну на Библии? Вам знакомо такое понятие «сиеста»?

– Ну? – поощряет меня Фогель, отрываясь от ногтей.

– Сиеста – послеполуденный отдых. Днем в Барселоне спят, ходят в кино и обедают. В апреле тоже, хотя жара еще не столь убийственна. Кинотеатры открываются в одиннадцать, а рестораны в восемь или в девять. Это легко проверяется. Рассказывать дальше?

Дальше ничего нового не последует. Я опять, в пятый раз, упомяну о Гомесе, продавшем мне паспорт, опишу во всех штрихах от ватерлинии до клотика «Лючию», плавающую под флагом нейтральной Коста-Рики, повторю историю, как сошел в Марселе ночью и до утра прятался в пустом пакгаузе, а утром, пользуясь беспечностью часового, выскользнул за ограду порта и, не мешкая, ринулся на вокзал, на парижский экспресс. Восемьдесят четыре часа с переры-

вами мы – Эрлих, Фогель и я – занимаемся набившим оскомину вопросом о моей поездке из Марокко во Францию, поездки, предпринятой ради спасения Алин Лекрек, нареченной Птижана, застрявшей в Париже с первых дней оккупации. Восемьдесят четыре из девяносто шести часов, прошедших с момента моего ареста гардистами, истратившими треть суток на оформление документов и бессистемные побои.

Меня взяли в метро в одиннадцать с минутами. Черт разберет, что уж там померещилось сухопарому молодцу в брюках-гольфах, буравившему остренькими глазками пассажиров на станции Распай. Он стоял у выхода и, повинуясь одному ему известным причинам, положил мне руку на плечо. Документы мои были в порядке, костюм безупречен, и я без опаски сунул гардисту удостоверение и пропуск комендатуры. Пропуск был, разумеется, фальшивый, но выглядел лучше настоящего – печати жирно сияли черной краской, все подписи были на местах. «В порядке», – сказал гардист, и в этот миг к моим ногам, скользнув по подкладке, сухим листом спланировал двухфунтовый банкнот Британского королевского банка. Бежать было некуда, и молодчик, захватив мою руку по всем правилам каратэ, потащил меня наверх, где и сдал гардистскому патрулю.

Восемь часов спустя штурмбаннфюрер Эрлих в полной форме приехал за мной во Дворец юстиции и с Острова перевез в Булонский лес. Гардисты были недовольны, но возражать не посмели и даже помогли мне почистить пиджак – восемь часов, они старались выбить из меня показания, где тайник с валютой: костюм от Вуазена и хорошие манеры арестованного привели их к твердому выводу, что Огюст Птижан имеет отношение к спекулянтам из-под Триумфальной арки. В силу этих причин пиджак мой к моменту прибытия Эрлиха напоминал лохмотья театрального нищего. Эрлих, брезгливо морщась, подождал, пока гардисты орудовали платяной щеткой; фарфоровый глаз его при свете ламп исторгал молнии, тогда как живой с неподдельным интересом исследовал многочисленные синяки и ссадины на моем лице.

Усталость, побои, напряжение – все, вместе взятое, кончилось тем, что в Булонском лесу я свалился в припадке; явился некто в белом, я заплакал, потом захохотал и скатился в бесформенную бездну, откуда выкарабкался только к следующему утру. С тех пор мы почти неразлучны с Эрлихом; я говорю, он, слушает и никак не хочет сорваться с тормозов...

– Рассказывать дальше? – повторяю я и, оглянувшись, посылаю Микки роскошную улыбку: пусть видит, что я не сержусь на нее.

Эрлих не торопясь выходит из-за стола и присаживается рядом с Фогелем на подоконник. Скрещивает руки на груди и на миг задумывается.

– Значит, так... – начинаю я.

– Стоп! – говорит Эрлих и зевает, прикрыв рот ладонью. – К чему спешить, милейший? Повторите-ка мне, от «а» до «зет», как вы ехали из Мадрида в Барселону. И не ошибитесь, ради бога. Поняли? ... Ну валяйте, а мы с Фогелем послушаем; мы страшно любим слушать, не так ли, Фогель?

Черт бы его побрал, этого Эрлиха! Бесконечные повторы медленно, но верно ведут штурмбаннфюрера к цели. Не родился еще человек, способный изложить одну и ту же историю полдюжины раз кряду и при этом ни разу не спутать деталей, не сбиться, не обмолвиться – словом, не подарить опытному следователю пару-другую зацепок, ухватившись за которые он может найти искомое. Преимущество Эрлиха состоит и в том, что он не делает попыток навязать мне волю, а равнодушно ест все те блюда, что я готовлю на своей кухне.

– Я устал, – говорю я, и на сей раз чистейшую правду.

Эрлих поднимает брови.

– Вот как? Но мы еще и не начинали беседовать по-настоящему... Ну, ну, Птижан, не хитрите. В ваших интересах не портить отношений. Вчера вы признались, что занимаетесь шпионажем в пользу голлистов и назвали связную, явку, опознавательный сигнал на кладбище.

Будь я легковернее, мы бы этим ограничились и списали бы вас в Роменвилль. Залп – одним голлистом меньше...

Слезы наползают мне на глаза.

– Я лгал, господин Эрлих... я думал...

– Что спасете этим жизнь? Ах, – как неразумно!.. Повторяю: окажись я легковернее, все было бы кончено. Подвал, третья степень, а затем форт Роменвилль и залп из семи винтовок... Цените нас с Фогелем, дорогой Птижан! Вы живы, вас обхаживают как принцессу – и все для чего? Во имя гуманизма? Отчасти! Во имя буквы закона? Тоже верно, но не совсем. Просто и Фогель и я – порядочные ребята, считающие, что и в наш жестокий век не перевелись романтики... Ваша любовь к Алин, ваши поиски любимой – такая история близка моему сердцу. И вот я подумал: а почему бы и нет? Почему бы и не поверить влюбленному, вдруг он не лжет?.. Тогда не Роменвилль, а концлагерь и интернирование до конца войны. Улавливаете разницу?

Мягкая, обволакивающая боль сжимает мое сердце, и лицо Эрлиха, покачнувшись, начинает плыть перед глазами... Я знаю, что это такое, и изо всех сил цепляюсь за стул. Ногти скребут по дереву, откалывая остренькие щепочки... Сейчас я начну смеяться, а потом Фогель и Эрлих взвоятся к потолку и будут летать надо мной, долбя клювами череп... Нет!.. Я-то точно знаю, что я не сумасшедший... Это все доктор Гаук, это он сказал, что у меня не в порядке с головой... Чепуха! Я здоров и отлично помню, как ехал из Мадрида в Барселону. Сначала поездом, а затем в автобусе; шофер может это подтвердить. Он не посмеет лгать, зная, что жизнь ближнего зависит от его слов... Вот он стоит в углу – синий берет и рубашка с закатанными рукавами... Эй, парень! Подтверди Эрлиху, что ты вез меня из Сан-Висенте!..

Спокойствие приходит ко мне – прочное и умиротворенное. Теперь, когда шофер здесь, в гестапо, я могу и поспать. Я укладываюсь на перину и замуриваю глаза, совсем как в детстве, когда засыпал под стук ходиков с кукушкой... Впрочем, нет! Не было ходиков! Ничего не было, и детства тоже...

Сон наваливается на меня, вдавливая в перину, окутывает мраком и теплом. Из душного тепла выходит доктор Гаук, халат его хрустит, а голос подобен хрустальному звону...

...С острым звоном лопается горлышко здоровенной ампулы, и я прихожу в себя. Врач в белом халате поверх черной формы помогает мне вскарабкаться на стул и мощной лапой перехватывает мою руку у запястья.

– Ну как?

Это Эрлих.

– Все то же, штурмбаннфюрер.

А это врач – доктор медицины Гаук; его я, честно говоря, опасаюсь больше Эрлиха и Фогеля, вместе взятых.

– Что вы предлагаете? – спрашивает Эрлих равнодушно, словно меня нет в комнате.

– Исследование спинномозговой жидкости – пункцию, штурмбаннфюрер. Тогда мы будем знать наверняка. Можно попробовать и барбитураты внутривенно – субъект растормаживается и говорит все, следуя за потоком сознания. Минуты две, не меньше. Очень эффективно при распознавании симуляции.

– На сколько вы его возьмете?

– На сутки. После пункции придется лежать.

– Но допрашивать можно?

– Конечно. Только не поднимайте его с постели.

– Хорошо. Я все обдумаю и сообщу решение. Свободны!.. Все свободны, и вы тоже, Фогель. Шарфюрер, оставьте мне протоколы. Перерыв, господа...

Врач, Фогель и Микки покидают комнату. Микки выходит последней, успев послать мне недобрый взгляд. Пробую по привычке ответить ей улыбкой, но губы словно одеревенели и

плохо слушаются меня. Эрлих спрыгивает с подоконника и достает портсигар из нагрудного кармана.

– Голова... – говорю я.

– Голова кружится? Пустое, все пройдет. Все проходит в нашем мире, мой милый!

– Тривиально...

– А что не тривиально? Жизнь? Смерть? Чем вы отличаетесь от двух миллиардов двуногих, и почему я, штурмбаннфюрер Эрлих, трачу на вас время? Не догадываетесь?

– Нет, – говорю я довольно твердо.

– Ладно, закуривайте. И не изображайте сумасшедшего. У вас это неплохо получается, но думаю, что пункция и барбитураты подведут черту под спектаклем. Слышали, что сказал врач?

– Черту под спектаклем? Вы скверный стилист, Эрлих!

Штурмбаннфюрер чиркает спичкой и ладонью отгоняет сигаретный дымок. Выпускает тонкую струйку, целясь мне в глаза.

– Отлично! Чувство юмора всегда при вас, точно кожа, мсье Птижан. Следовательно, вы не лишились способности рассуждать здраво и давать оценки происходящему? Я прав?

– Допустим.

Слабость еще не прошла, но я уже не цепляюсь за стул. В ампуле, вероятно, был сильный стимулятор – такое ощущение, будто я хватил добрый стаканчик коньяку и сейчас балансирую на границе между трезвостью и опьянением.

– Тогда курите, – говорит Эрлих и, протягивает мне портсигар.

– Трубка мира?

– Все может быть...

– А как же третья степень? Я все жду и жду!

Эрлих прищуривается и убирает портсигар.

– Всею свой срок... Слушайте внимательно, Птижан. У меня три версии. Первая – вы шпион. Вторая – донкихотствующий романтик. Третья – сумасшедший. Последние две мы пока оставим и сосредоточимся на первой. За нее так много аргументов, что затрудняюсь пересчитать. Но вот вопрос – кто вас послал? В Париже вы три месяца – мы проверили, и оказалось, вы не лжете... Клодина Бриссак? Может быть, вы выдумали ее, а может, и нет. Во всяком случае, полагаю, в кафе вам требовалось побывать... Итак, кто вас послал? Это самое основное. Вчера вы сказали: французы. Сказали без колебаний и не испытывая при этом видимых мук совести. Но разве так предают своих? Полноте, Птижан! Не считайте меня новичком!

– Я и не думал...

– Стоп! Сейчас моя очередь говорить... Четверо суток вы врете мне, хотя и знаете, что банкнот лежит здесь, в столе; Алин Деклерк в Париже никогда не проживала, а при обыске в пансионе найдены кое-какие вещички, купленные вами не во Франции!

– Белье? – словно вспоминая, говорю я. – Белье с английскими метками? Но оно продается в Рабате в любой лавке.

Эрлих кивает.

– Верно. Во всем, что касается Рабата и отрезка Марракеш – Барселона, вы довольно точны. И знаете – я вам верю. Вы приехали именно оттуда, из Марокко. Вот почему я и утверждаю, что за вашей спиной не французы, а более мощная и богатая организация. Разведка господина де Голля не в состоянии затратить столько франков на переброску. Англичане, без особых фокусов, переправляют агентуру голлистов через Ла-Манш – и скатертью дорога!.. Другое дело – вы. Сам выбор маршрута говорит за то, что Огюст Птижан не рядовой агент, а фигура покрупнее! Много крупнее. Если же помнить, что «Бельведер» и «Континенталь» – фешенебельные отели, то – вы следите за моей мыслью? – мсье Птижан вырастает до размера колосса... Какое у вас звание, мой друг? Майор? Или еще выше?

– Маршал Франции!

Раз Эрлиху хочется видеть меня колоссом, то почему бы не присвоить себе любой высший ранг, вплоть до генералиссимуса. Мне это ничего не стоит.

– И вот еще что, – добавляю я небрежно. – Алин Деклерк действительно никогда не жила в Париже. Мне страх как не хотелось, чтобы гестапо рылось в доме будущего тестя. Кому это захочется, верно? Но еще меньше мне улыбается быть расстрелянным в качестве агента. Поэтому, господин Эрлих, не соблаговолите ли вы взять карандаш и записать настоящее имя моей невесты? А заодно и ее старый адрес – по нему она проживала до сорокового... Прошу вас, пишите, 8-й район, улица Гренье, 6, Симон Донвилль. Ее семью знает вся округа. Заодно консьерж скажет вам, что три месяца назад я справлялся о Симон. Думаю, он не откажется удостоверить мою личность. А теперь – нельзя ли сигаретку? У вас ведь «Реemtсма»? Очень приличный сорт...

Иногда это полезно – подбросить в костер полено потолще. Парадокс из области физики: пламя отнюдь не увеличивается, а, напротив, убывает, и иногда надолго. Кроме этого полена, у меня в запасе есть еще несколько, одно лучше другого.

Словом, поживем – увидим.

3. Циклоп, Гаук и сукин сын фогель – июль, 1944

Поживем – увидим. Авось да небось. Сколько веков утешается человечество этими суррогатами реальных надежд? Лично меня они не обольщают. И я говорю себе: «Огюст, ты хороший парень, но ты вляпался в скверную историю. В лучшем случае тебя без особых хлопот шлепнут как-нибудь поутру в заболоченном рву старого форта Роменвилль. Будет солнечно и тихо, и меланхоличные лягушки проквакают тебе отходную. Однако десять против одного, что Циклоп и Фогель вытянут перед этим из тебя жилы, а ты только человек, и, как знать, не сболтнет ли твой язык чего-нибудь лишнего?..»

Вечером СС-гауптштурмфюрер доктор Гаук сделал мне пункцию. Сделал мастерски – я и не почувствовал, как игла вонзилась между позвонками, слабый скрип – и только. Я сидел на стуле лицом к спинке и глазел на стену, где ползали большие черные мухи. Таких почему-то называют мясными. Мухи ссорились и склочничали, точно домохозяйки в коммунальной кухне. Пока Гаук выкачивал спинномозговую жидкость, мухи успели передрасться, а Фогель, присутствовавший при операции, мрачно морщась, советовал мне не дожидаться результатов анализа и выкладывать правду.

– Сукин ты сын, – сказал я ему, намеренно разделяя слова. – Тебя разве не учили, что давать советы – привилегия старших? Ты думаешь, если напялил черный мундир, так сразу стал умнее всех? Или нет?

– Заткнись!

– О, как страшно!.. Ты действительно сукин сын, Фогель. И еще трус. Ставлю голову об заклад, что после высадки прачка не успевает приводить в порядок твои кальсоны. А когда союзники возьмут Париж, ты продашь всех и фюрера тоже, вымаливая себе местечко под солнцем. Вот оно как...

Гаук не успел сменить позицию и стать между нами: черный и стремительный – суцая пантера! – Фогель метнулся ко мне и нанес апперкот, сделавший бы честь самому Джо Луису. К счастью, Гаук уже извлек иглу: я установил это, вынырнув из обморока; в противном случае остатки дней своих Огюст Птижан провел бы с двумя дюймами крупновского железа между позвонками.

Гаук взял меня под мышки и водрузил на стул.

– Вот что, – сказал он с мрачным юмором. – Вы выясняйте, кто есть кто, а я пойду. Только учтите, штурмфюрер, потом не просите меня собирать целое из осколков.

Фогель сосредоточенно погрыз ноготь.

– Хорошо, гауптштурмфюрер. Но пусть он помолчит.

– Не слушайте, вот и все.

Говоря, Гаук раздвинул мне веки, надавил на переносицу.

– Посмотрите на мой палец... Сюда... А теперь сюда...

По спине у меня текло что-то мокрое и горячее. Может быть, кровь. Я скосил глаза, следя за пальцем Гаука... До операции он изрядно помучил меня всевозможными манипуляциями: стучал по колену молоточком, заставлял стоять на ребре сиденья стула, чертил перышком решетку на груди. Судя по всему, он взялся за меня всерьез.

– Доктор, – сказал я. – Я хочу рисовать. Пусть мне дадут карандаши, я нарисую на стенке козлика. Я рисую, как Модильяни, даже лучше Модильяни.

Гаук негромко заржал, показав крепкие желтые зубы.

– Вам мало прогрессивного паралича?

– Что-нибудь не то?

– Козлик – ближе к шизофрении. Хороший сумасшедший должен знать симптомы...

Гаук марлевой салфеткой вытер мне спину и одним движением приклеил наклейку.

– Одевайтесь!

– А как же козлик? – запротестовал я. – Дадут мне карандаши?

– Дайте ему их, штурмфюрер, – сказал Гаук и снова заржал. – Пусть рисует. Я, знаете ли, собираю сувениры.

– Еще что?

– А ничего. Шесть часов он должен лежать на брюхе и не двигаться. Пусть ему принесут горшок, а то, чего доброго, попретса на парашу. Ясно?

Они ушли, а я остался, лег на койку и закрыл глаза. Еще шесть часов. А что потом? Наверно, барбитуратовая проба. Две минуты болтовни, не зависящей от моей воли и отражающей поток сознания. Значит, имена, адреса, даты...

Одеяло прилипло к мокрой от пота спине. Толстое добротное одеяло с пышным ворсом и ткаными руническими знаками в углу. Клеймо СС.

Шесть часов... Из них три, похоже, прошли...

Я лежу на животе и мягкой алюминиевой ложкой рисую на линолеуме длинноногого козленка. Мордочка выходит хоть куда, но все же чего-то не хватает. Чего? Ах да! Рогов нет... Черенком ложки я пририсовываю козленку два штопора и длинную бороду, похожую на мочалку... Мне никто не мешает. В комнате я один, а в двери нет глазка. Обыкновенная комната и обыкновенная дверь, разрисованная масляной краской под орех. Раньше здесь, должно быть, жила прислуга.

Плохи твои дела, Птижан. Хуже некуда.

Впрочем, так ли это?.. Граф Монте-Кристо сидел в каменном мешке, выдолбленном в скале одинокого острова. И то ухитрился бежать. Славный герой Дюма-отца обломком чего-то там – кажется, кувшина или миски? – сумел проложить себе ход в тверди. Трудно же ему было! Многопудовые гранитные блоки, вековая известь, твердая как алмаз... Чем я хуже Монте-Кристо? У меня есть ложка, а стены особняка сложены из обычного кирпича, связанного в два ряда.

Посмеиваясь над Птижаном, пасующим перед не бог весть каким препятствием, я прихожу к твердому выводу, что герои романов были из другого теста. Ну какой я герой? Стену и то сломать не могу, да и внешность у меня заурядная – так, человек из толпы...

Я пририсовываю козлику хвост-пупочку и думаю, что это за штука – барбитураты внутривенно? Насколько наркотик развязывает язык и что можно наболтать за сто двадцать секунд? Очевидно, сильное опьянение, резкое снижение контроля, расторможенность и все такое прочее... Да, невесело...

Надо за что-то зацепиться и не дать себя сбить. Клодин Бриссак? ... Что ж, пожалуй, годится. Держись за нее, Птижан! Наркотик будет делать свое, а ты тверди: Клодин, Клодин, Кло, Клодин Бриссак. Тысячу раз повторяй и рисуй ее: руки, голос, лицо... Ладно, с этим ясно. А сам я кто? Пусть будет Одиссей. Сумеешь ли ты построить цепь ассоциаций от Одиссея к Гауку и Эрлиху? Гаук и Циклоп... Давай попробуем все подряд: Клодин Бриссак, блондинка, живет в одиннадцатом районе, адреса не знаю; Гаук – белый халат; Циклоп, Циклоп, Циклоп... Медленнее! Иначе не заполнишь две минуты... Итак, Клодин Бриссак – подруга Одиссея. Где ты был, Одиссей?.. Не так. Это уже за гранью дозволенного. Одиссей никуда не выезжал за пределы Рабата и Марракеша. Только в Париж – через Мадрид и Барселону.

Козлик, козлик, где ты был?.. Мой козлик с рожками штопором – почтенный домосед. Час назад я создал его, поместив слева и наискосок от кровати, и он все еще торчит там и даже пупочкой не шевелит. Мне бы так – раз и навсегда стать на своем и ни на дюйм не двинуться в сторону.

Что нашли при обыске в комнате? Белье с английскими метками. Почтовую бумагу: такой здесь нет в продаже. Тоже английская. Фогель, вернувшись из пансиона, приволок в гестапо не только мой чемодан, но и бумажный пакет, куда, по-видимому, собрал мусор из пепельниц

и корзинки. Сукин сын, этот Фогель; он примитивнее Эрлиха и ждет не дождется часа, когда тот позволит ему спустить с меня шкуру. Боюсь, однако, штурмбаннфюрер не даст ему перестараться.

Вечер сейчас или ночь? Не знаю. Окно снаружи забито досками, ни черта не разберешь... Пока мне ни разу не удалось спровоцировать Эрлиха и вызвать у него ярость. Врачи говорят, что у меня слабое сердце, долгих побоев я не выдержу.

Каждый знает, на что он идет. Я с самого начала считал себя наименее подходящим к будущей роли. У меня было время отказаться – неделя, кажется. На третий день пришел и сказал: «Согласен». Почему?.. Нет, я вовсе не пересмотрел взглядов на самого себя. Говоря «согласен», я по-прежнему считал, что ничего толкового не выйдет. И все же – почему я согласился? Была одна мысль, не существенная на первый взгляд. Коротко сформулированная, она уложилась в пять слов: «Но ведь кто-то обязан решиться?» Этим «кто-то» мог оказаться семьянин, отец детей, прекрасный муж, сын, брат... жених, в конце концов! А Огюст? Ни кола ни двора, и сам себе хозяин. Одинокий прохожий в толпе из числа тех, что всегда берет два билета в кино и один предлагает незнакомой девушке. Только так почему-то случается, что девушка, видите ли, пришла с кавалером, и вот – сердце не камень! – ты отдаешь ей и второй билет, а сам бредешь домой, где ждут тебя книга и остатки завтрака, накрытые газетой.

Одиночество... Но нет, не оно было причиной, когда я сказал: «Согласен». Причина в ином, и конечно же поверьте, не в соображении, что дело, за которое я взялся, легче делать холостяку, нежели семьянину, озабоченному женой и детьми. Не в этом суть! Мое дело не профессия. Профессия – это что-то иное. Отоларинголог, электрик, продавец бакалейного товара, астроном, водопроводчик, наконец, – все они действуют, повинуюсь своей разумной воле и дисциплине, получая денежный эквивалент труда и более или менее гордятся пользой, приносимой повседневно. Но вот канатоходец; это профессия? Или нечто иное, искусство, что ли, без которого, разумеется, человечество вполне способно обойтись, как рано или поздно оно обойдется и без специалистов вроде Огюста Птижана... Я гляжу в потолок и думаю, что если рассматривать мое дело как службу и только, то легко сравнить Огюста Птижана с профессиональным воякой, сражающимся, поскольку война – его ремесло... Ну уж нет, не так! Выбирая, я знал одно: я не профессионал, но меня мобилизовали на защиту раньше, чем миллионы солдат. Я защищаю общество и идею, и мне не до белых перчаток! Профессия? Нет. Осознанная необходимость, помноженная на огромное до бесконечности понятие долг!

Вот оно главное – долг. Перед собственной совестью, людьми и идеями, без которых жизнь Огюста Птижана теряет смысл. Он держит меня в своих жестких, но разумных рамках, мешая сейчас разом избавиться от всего: опустошающих мозг допросов, предстоящей боли и медленной, изуверски затянутой смерти. Ах, как это красиво выглядит – броситься на Эрлиха и получить пулю! Эффектная сцена, требующая замерших от волнения зрителей и исполненных пафоса слов о грядущем возмездии убийце. Но если разобраться, то это был бы не героический финал, а паникерское бегство с передовой, та преподлейшая трусость, за которую расплатиться пришлось бы другим... 25 июля... До этого дня я обязан жить – и не просто выторговывать часы и сутки, но всеми средствами добиться того, чтобы дверь моей камеры приоткрылась хотя бы на толщину бумажного листка. Иначе подлинное грядущее возмездие отодвинется на миг или секунду и тысячи людей умрут, ибо каждый краткий миг войны оплачивается кровью... 25-е... А потом?.. «Тот, кто ставит много целей, не достигает ни одной». Так сказал один мудрый человек, учивший Огюста Птижана уму-разуму в не очень отдаленном прошлом. Святые слова! Но стоп, Огюст!.. Прошлое твое подобно туману, оно почти эфемерно, и думать о нем все равно, что ловить ветер сачком... Девушка, многодетный «кто-то», причины и следствия... Было это или не было? Как знать... Скорее всего, ты все это выдумал, Птижан, – и про билет в кино, и о разговоре, закончившемся словом «согласен»... Да, Гаук прав: ты сумасшедший. С самого детства. Все, что было когда-нибудь с тобой, – ирреальность, бред, перемешанный с

обломками бытия, искаженными свихнувшимся сознанием. Твердо помнишь ты лишь то, что Кло Бриссак живет где-то в одиннадцатом районе и у нее родинка на левой щеке.

«Не так уж мало!» – думаю я и, не поворачивая головы, улыбаюсь входящему в комнату Эрлиху. У него характерные шаги, чуть шелестящие, я различу их среди тысяч других.

– Как вы себя чувствуете? – говорит Эрлих и садится, закинув ногу на ногу. – Хочу вас обрадовать. Симон Донвилль действительно жила на улице Грень. Ее семья съехала оттуда в сороковом. Консьерж припоминает, что месяца три назад его кто-то спрашивал о Симон. Остается уточнить несколько мелочей, чтобы убедиться, что мы с вами имеем в виду одну и ту же особу. Где она работала или училась?

– Симон?.. Она ушла из лицея. Летний сезон проболталась на побережье, рисовала пейзажи, но дело не пошло, и она бросила живопись. А осенью, кажется в сентябре, подруга устроила ее манекенщицей в «Бон Марше».

– В универмаг?

Я вовсю стараюсь, чтобы ответ звучал гордо.

– Самый знаменитый в Париже, штурмбаннфюрер! Расположен на улице Севр и занимает целый квартал. Золя описал его в романе «Дамское счастье». Не читали? Да, универмаг, самый прославленный и самый старый, основан в 1852 году.

– Такая точность!

– Я польщен, штурмбаннфюрер.

– Пустое, Птижан. Просто я плачу дань вашим способностям. И вот еще что – обострите, пожалуйста, вашу память до предела. Сейчас придет Гаук, и мы продедем маленький эксперимент, о котором договорились утром. Вы не станете возражать?

– Напротив, – говорю я любезно. – Здесь вы хозяин, действуйте не стесняясь.

– Разумно... Но не разумнее ли отбросить стыдливость и откровенно все рассказать? Если вы захотите, исповедь останется между нами... Понимаете, наш химик очень заинтересовался бумагой... той, что мы взяли в пансионе. Он утверждает, что на ней водяные знаки Ливерпуля; и фактура характерна именно для ливерпульской... Так что ж, «правь, Британия, морями»?

– Ни в коем случае! «К оружию, граждане, равняйтесь, батальоны!»¹

– Упрямство не приводит к добру... Входите, господа!

Фогель входит первым и, обогнув кровать, останавливается в изголовье. Покачивается с носка на каблук и, не сдержавшись, потирает руки. Для контрразведки такие, как он, не годятся. Слишком легко дают выход эмоциям, низкая организованность мышления, мстительность и связанная с ней повышенная самооценка. Эрлих из иного теста. Эрлих и Гаук. Им можно наплевать в лицо, наступить на мозоль, задеть за самое живое – глазом не моргнут, стерпят... до известного часа, конечно.

Эрлих отстраняет Фогеля, ставит стул возле моей головы, садится и кладет руки на колени.

– Лежите смирнехонько, и все будет хорошо.

Гаук черными каучуковыми жгутами перехватывает мои запястья и, развернув левую руку ладонью вверх, привязывает концы жгутов к раме подматрасника. Белый халат его пахнет валерьянкой и чем-то сладким, трупным.

– Валяй, клистирный мастер, – вяло говорю я, следя за тем, как тонкая игла шприца вонзается в набухшую вену. – Будь здоров, Циклоп, поверь, я и не шелохнусь...

– Что он несет? – спрашивает Фогель. – Уже действует?

¹ Строчки из Британского гимна и французской «Марсельезы».

Светлая жидкость в баллоне «Рекорда» убывает, облизывая деления. Гаук разжимает пальцы, и наполовину опорожненный шприц повисает, оттопырив вену иглой. Доктор накладывает руку мне на запястье, щупает пульс и издает довольное ржание:

– Все нормально.

Ничего особенного. Голова ясная, только тело горит. Жар постепенно подбирается к плечам, шее, перебрасывается на затылок и концентрируется там – круглый, пышущий, как шаровая молния. Почти приятно... Мне становится весело, и я показываю Гауку язык.

– А ты не дурак, – говорю я, и голос мой звучит музыкально. – А Циклоп... ой, не могу... Ну и сволочи же вы, господа! Боже мой, какие же вы все сволочи!.. И все вы боитесь будущего... Ведь так?.. Союзники придут в Париж и прихлопнут вас всех до одного. Слышишь, Фогель?

Меня распирает от желания смеяться и говорить. Я пьян, и понимаю это, и все-таки ничего не могу поделаться. Я должен, обязан, я просто не имею права болтать пустяки – мне страшно нужно сказать Циклопу все, что я о нем думаю.

– Ха! – говорю я и захлебываюсь смехом. – Вот те на... Циклоп, ты думаешь, я шпион? Так оно и есть... Шпион, ну и что здесь такого? Я с детства любил подглядывать и всегда шпионил в классе для учителя...

Не так плохо. Но наркотик еще только начал действовать. Сколько еще я смогу контролировать себя?.. Минуту? Или чуть больше?.. Только бы не проговориться!

Эрлих кладет мне руку на голову и треплет волосы.

– Что же вы замолчали? Говорите. Циклоп – это я? Очень, очень метко, хотя и обидно... Ну, я слушаю вас.

В ушах у меня начинает шуметь. Кто-то поднес к ним огромную раковину, выплескивающую из горловины звуки прибора. Море... Я гулял по берегу и собирал цветные камешки. Надо ли говорить о камешках?

– Значит, Циклоп? – повторяет Эрлих медленно. – Очень забавно!

Мозг мой намертво схватывает слово. Одно слово Циклоп.

– Одиссей, – слышу я свой голос. – Я Одиссей... а ты Циклоп. И Гаук. И сукин сын Фогель...

– Одиссей?

– Ну конечно же... Это я...

– Это кличка? Прозвище? Имя по коду?

Эрлих говорит отдельно и настойчиво.

– Имя по коду?

– Одиссей и его Пенелопа... Клодин Бриссак, Кло, у нее родинка на щеке.

Я говорю быстро и не могу остановиться. Слова сами по себе повисают на кончике языка и срываются с него каплями; я ощущаю вес и вкус капель; их много, сотни, и я не в силах ими управлять... И в то же время я – а может, не весь я, а только какая-то часть? – слышу себя со стороны и со страхом жду, когда вместе с другими сорвется капелька, обтекаемая, кругленькая – Люк... «Забудь о нем, Огюст!»

– У меня бред, – успеваю сказать я, чувствуя, что мне не удержать эту проклятую каплю. – Я болен... Одиссей доплыл... Не бывает сумасшедших шпионов... Не бывает. Мне говорили... что я болен...

Слишком много сил ушло. Я построил длинную и более или менее связную фразу, но больше не могу. Все летит в тартарары, а мне безразлично. Отупев, я смотрю, как Гаук надавливает на поршень шприца. Туман ползет на меня, скрывая его руку, стену... все...

Я что-то говорю. Мозг еще работает; в нем мерцает какая-то лампа, не выключенная наркотиком. Но себя я больше не слышу. Кто-то пишет в тумане яркими буквами «Кло Бриссак»; стирает и выводит новую – «Радист Люк, улица...»

И опять на миг я прихожу в себя, чтобы вытолкнуть в воздух бессмысленное: Циклоп, Гаук, Одиссей. Шаровая молния в затылке взрывается и погребает адрес и полное имя ради-ста... Сказал или нет?

4. Почти тот свет – июль, 1944

Сказал или нет? Совсем немного времени требуется, чтобы убедиться: сказал...

Эрлих встречает меня у дверей кабинета и молча указывает на кресло. Мягкая кожа, простеганная ромбиком, принимает Огюста Птижана и оседает, спружинив. Штурмбаннфюрер садится напротив. Он наряден и чуточку торжествен.

Какое сегодня число? Девятнадцатое?.. Меньше чем через неделю контрольный день в моем банке. Если я не явлюсь двадцать пятого и вместе с кассиром не обревирую содержимое абонированного сейфа, трио в составе кассира, одного из директоров и бухгалтера вскрыет его и сверит содержимое с описью. Таков порядок. Старинный порядок, заведенный на тот случай, ежели клиент заболел, умер или забыл нанести визит в контрольный день. «За последние двести лет, – сказали мне в банке, – у нас не было случаев пропаж. И все же мы установили контрольные дни – в интересах самих клиентов, естественно». Значит, в моих интересах... Черт бы драл всех этих господ, пекущихся о клиентуре. В данную минуту меня куда более утешило бы, если б в банке на протяжении двух последних столетий пропажи из абонированных сейфов стали массовым явлением. По крайней мере, тогда я мог бы надеяться, что из портфеля, лежащего за семью замками, исчезнет тонкая пачка бумажек, читать которые совсем не обязательно служащим банка... Вся надежда на Люка. У него есть доверенность, и он знает защитный шифр. Люк говорил, что кассир – вылитый Дон-Кихот! – похоже, связан с Сопротивлением. Если Люка не допустят в хранилище, возникнет обидный парадокс – Дон-Кихот из франтиеров своими руками передаст гестапо частные бумаги Огюста Птижана, любая из которых будет стоить Огюсту головы!..

Эрлих мизинцем поправляет бутоньерку и наклоняется ко мне.

– Ну как, выпались, Птижан?

– Голова, – говорю я. – Что за дрянь, которой меня пичкали вчера? Никак не могу трезвиться.

– Кофе?

– Не откажусь.

Эрлих дотягивается до стола и придавливает фарфоровую кнопку звонка. Говорит Микки, сунувшей нос в кабинет:

– Два кофе, шарфюрер. И скажите Фогелю, чтобы позвонил мне через полчаса. Где Гаук?

– Откуда мне знать? – говорит Микки нелюбезно и трясет прической а-ля Марика Рокк. –

Вечером он был в казино.

– Свободны, шарфюрер!

Микки с треском захлопывает дверь, а Эрлих, натянуто улыбаясь, поворачивается ко мне.

– Хорошая девочка, но никакого понятия о дисциплине. И притом мечтает об офицерских погонах. Ее отец старый член партии, начинал еще со Штрассером...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.